

ЧЕМ БОЛЬШЕ Я ЖИВУ, тем больше и острее понимаю, что близко познакомился с Сергеем Аполлинарьевичем Герасимовым уже очень давно, хотя впервые увидел его всего двенадцать лет назад на приемных экзаменах во ВГИК.

Казалось, взаимоотношения наши в этот день должны были быть простыми и ясными: он — профессор, экзаменатор, руководитель мастерской, строго и разборчиво набирающий новый курс. Я — дрожащий абитуриент, как и все прочие, думающий лишь о том, как стать студентом.

Конкурс огромный и жестокий, конкуренты сильные и симпатичные. В первые же дни мы становимся друзьями. Мы, как это ни странно, помогаем друг другу. Мы сообщаем друг другу, кого из писателей надо любить, чтобы понравиться еще незнакомому нам Герасимову. Русская литература — Толстой, Шолохов, Фадеев... Западная — Стендаль, Мериме. Музыка — кажется, Бетховен, кажется — Скрябин, кажется — Шостакович. Сведения приблизительные. Но вот вызывают...

Шарю глазами по лицам, пытаюсь понять, кто же главный, кто он? Экзаменаторский стол большой, за ним много людей, а я — один. А он сидит сбоку так, что, усевшись на свой стул, оказываюсь совсем рядом. И вот тут понимаю, начинаю понимать, что знаком с ним очень давно.

Он был восьмой зивовщик в истории про семерых смелых, а вернее, он был в каждом из этих семи. Он с первыми комсомольцами приехал на Амур строить свой город. Он был Учителем с трудной судьбой и даже, наверное, в Арбенине из «Маскарада» жила изрядная доля Герасимова.

А сейчас, на экзамене во ВГИКе, передо мной сидел мой сверстник. Это теперь, в дни юбилея, я подсчитал, что Сергей Аполлинарьевич старше меня на семнадцать лет. А тогда он волшебным способом заставил исчезнуть эту разницу, и вот друг перед другом сидели друзья-одногодки. Ну, может, только усы... Так ведь и я же на фронте ношил такие же. Ну, может, еще лыси-на. Так ведь она нужна ему, на-

верное, для профессорской солидности. А так — сверстник. Горячие и веселые глаза, сильные руки. И волнуется... Но мне ясно, что за меня. И вопросы... Ни одного из тех, что мы судорожно готовили в коридоре. А просто: «Для чего идешь в кино?». «О чем хочется страстно говорить?». «Что волну-ет л-и-ч-н-о тебя?», «Какая л-и-ч-н-о твоя любимая песня?», «А стихотворение?».

А уже потом и вроде бы между прочим: «Какого писателя больше всего любишь?».

Про эти экзамены можно рас-



оказывать очень долго... И с удовольствием...

Потом была учеба. Институт окончен давно, а учеба у Сергея Аполлинарьевича длится до сих пор и пусть продолжается всю жизнь.

Мне запомнилось, как на третьем, не то на четвертом курсе мы впервые стали свидетелями его гнева. Один из наших товарищей, тогда еще очень зеленый, а сейчас очень известный, сказал:

— Вы так, Сергей Аполлинарьевич, все очень художественно рассказали... И я не понял. А теперь, если можно, по-другому... Герасимов побледнел. Если бы существовали такие градусники, которые могут измерить ученую степень, они в эту секунду, на-

К 60-летию С. А. ГЕРАСИМОВА

верное, не показали бы профессорского звания.

— По-другому не могу, — медленно произнес Герасимов. — Я — художник... Я думал, что разговариваю с художниками.

Герасимов оставлял очень долго, должно быть, полгода. Так ведь и обида была серьезной. Подумать только — его попросили на время перестать быть художником. Потом они помирились: Герасимов не перестал быть ху-

и злого. И если в фильмах С. А. Герасимова мы встречаемся с добром, улыбаемся ему, как старому другу, а если Герасимов заставляет нас взглянуть на злое — мы встречаемся с ним, этим злом, как с врагом, и смеемся над ним, ибо смех, ирония, сарказм — сильнейшее орудие современного искусства.

Я не один люблю Сергея Аполлинарьевича Герасимова... Нас много. У него всего много. Много у него и у его искусства противников, но значительно больше вылетело из-под его крыла учеников и последователей. У иных уже слава и седые волосы, звания и свои пути в искусстве. А ему только шестьдесят! Это так немного, тем более, кроме умения создавать фильмы, он великолепно готовит пельмени, играет на гитаре, боксирует, помнит наизусть бездну стихов; может напеть партию любого инструмента в любимых симфонических произведениях, читал почти всю драматургию прошлого и без всякого «почти» — сегод-няшнюю; профессионально знает живопись, сам рисует, любит скульптуру; может точно показывать, как сидит в седле донской казак, а как — яйцкий, а в концерте — пианист; очень смешно и точно имитирует Юрия Олешу, Александра Довженко и, наверное, своих учеников.

Он потому и режиссер, что любит уметь это.

И я думаю, хорошо, когда такому человеку исполняется только шестьдесят, тогда как выгля-дит он всего лишь на... Не знаю, наверное, моложе.

Он смотрит на мир романтично, с фантазией и восторгом. Он хочет числиться в отряде суровых художников и однажды очень обиделся, когда его заподозрили в сентиментальности. А я сильно подозреваю его в доброте. Просто в доброте. Так как только с доброты может начаться настоящее искусство.

Добрых и долгих вам лет, добрый учитель!

Я. СЕГЕЛЬ,
заслуженный деятель искусств
РСФСР.

УЧИТЕЛЬ

дожником, просто наш товарищ хорошо научился понимать язык искусства.

Это вовсе, как вы видите, не солидная киноведческая статья. Кесарю — кесарево, а киноведам — киноведово...

Что мне симпатично в творчестве Сергея Аполлинарьевича? Субъективность. Да, да, партийная субъективность. Это плохой оратор говорит: «Постараюсь быть объективным». Он забывает, что это невозможно. А в настоящем искусстве тем более. Только пропущенное через собственную индивидуальность, обогащенное ею, глубоко субъективное интересно нам, интересно зрителям.

Это, учась у Сергея Аполлинарьевича Герасимова, мы поняли, приняли и по возможности, сделали своим постоянное стремление доставлять зрителю радость узнавания. Радость узнавания окружающей жизни, узнавание знакомых людей, их интонаций, характеров, радость узнавания самого себя.

В творчестве Герасимова всегда и обязательно много улыбки и авторской, и в ответ ей — зрительской. Эта улыбка никогда не порождалась остротой, ликим сочетанием слов, парадоксом, но всегда и очень часто рождалась в результате узнавания доброго